Вячеслав ЛЮТЫЙ

«Эту жизнь наяву я хочу тихой ночью послушать»

Поэтический голос Геннадия Петренко

В наши дни поэзия как будто стремится к усложнению человека и мира, стесняется искреннего чувства и наивного высказывания, бравирует ведением в литературный лексикон слов низких и понятий более чем сомнительных. Оговоримся: прежде всего это относится к так называемой «либеральной» литературе, которой, очевидно, надоело быть простой по языку и сосредоточенной по мысли, и она взяла курс на все «безумно необычное», скандальное. Иное дело – стихи почвенные, в которых восхищение красотой мира и словно бы впервые увиденными картинами меняющейся природы соединены с глубиной мятущегося космоса внутренней жизни русского человека. Здесь рационально изощренная речь поэта стала бы только вредить всем тем смыслам, которые он хочет донести до своего читателя.

Стихи Геннадия Петренко примечательны не только ясностью и непосредственностью души главного героя, который помнит многое из мира детства – наивного и порой непреклонного, радостного и печального, неожиданного и привычного. Он не забыл способности называть – как будто впервые! – предметы и поступки, что для наших дней является редким достоинством. Классическая образность, целостность окружающего природного мира, глубина непознанной Вселенной, пространственная и духовная, сочетаются в его поэзии с затаенным одиночеством и никогда не исчезающей дистанцией между сокровенным, внутренним человеком – и людьми, появляющимися вовне рядом с лирическим героем.

Обнажились вороньи жилища
и нависли на голых суках,
а жильцы пропитание ищут
на раздольных полях и лугах.
Здесь, в глубинке, им – воля-раздолье!
На дорожных густых полосах
гулы ветра пронзительной болью
обвивают тропинки в лесах.
Всё одно: темноватая осень,
чёрствый след, и парит вороньё.
И меня, может, кто-нибудь спросит:
«Здесь ли было жилище твоё?..».

Подчеркнем, что в строках Геннадия Петренко отчетливо видны две составляющие облика его героя: внутренний, потаенный человек – и внешний, житейский, душевный, земной. Автор любовно и заинтересованно рисует городской и сельский пейзаж, движения природы. Кажется, что он – соглядатай реальности, ее спутник, невидимо летающий над деревьями и лугами, домами и дорогами, иногда замирающий и осторожно ступающий на землю. Петренко может упрекнуть действительность и человека, опечалиться происходящим, но выходить из пространства правды и чистоты в будничную пыль, задыхаясь и теряя себя, – не станет. Не в последнюю очередь из-за того, что такое окружение разрушает изначальную красоту места, в котором оказался певец в это мгновение.

Зажав узлом четыре уха,
я в тряпке осень унесу –
рыжеволосая старуха
ещё не сбросила красу:
плащом помахивает рваным,
заплаты дождь к асфальту бьёт…
Но в продырявленном кармане
не удержать Вселенной ход.
И я сменю четыре уха
на одноногий инструмент,
чтоб белоснежные краюхи
сгребать до новых перемен.

Всматриваясь и вслушиваясь в картины и дыхание мира («ворота закрываю на замок – за небом наблюдать вторые сутки»), автор тем самым подчеркивает важность всего тонкого и непознаваемого в сравнении с очевидным прахом и сором, которые привнес человек в прежде прекрасный окоем («эту жизнь наяву я хочу тихой ночью послушать»).

Нельзя сказать, что лирический герой Геннадия Петренко сторонится людей. Однако, как правило, он смыкается с ними только внешне, часто жалея их и протягивая дружескую руку. Но сам видится лишь наполовину принадлежащим земле, в которой ему дорого тепло родной почвы, нагретой летним солнцем, и древняя её история. Обращая взгляд в давние века, он называет «речку местную» Осерёду – рекой времен. Говоря о смирении – поминает Христа, чья Рука удерживает сегодняшнего русского человека от рукоятки ножа. Прописывая мгновение проживаемой жизни, поэт делает его удивительно полным, заставляя читателя еще раз почувствовать радость бытия:

Пекло загаром сверху по спине,
и пахло юностью поджаристое лето.
И чувство нежное таилось в глубине,
ромашкой белоснежною согрето.

Иной раз авторское «я» как будто совсем уходит из стихотворения, и перед читателем возникает словно бы независимая от личного восприятия красота – будь то событие или зарисовка природного уголка. Такое свойство в эпоху эгоцентризма обладает особой значимостью. Оно свидетельствует, в первую очередь, об иерархии ценностей сочинителя, а во вторую – о его умении художественно воссоздать поразившую его мизансцену: «первый снег, морозом скованный, хруст капустный под ступней»; «над речкой перекошенный мосток траву примнет под детскими ногами»…

Яркие чувственные моменты земного бытия – и одинокость автора, необъяснимая отодвинутость его от здешнего мира… Это сочетание есть скрытый лейтмотив многих стихотворений Геннадия Петренко («за далью вижу невещественные грани, а с ними рядом – существующее «я»»). Психологически подобное состояние и устройство души можно счесть следствием жестокой современной эпохи, которая отчуждает нас от многих прежде естественных вещей. Однако русское сердце, кажется, изначально было создано как проекция двух измерений: гармонии красоты и взыскания Истины.

Вот почему, всякий раз вчитываясь в строки поэта, мы понимаем: они – о русском человеке вне зависимости от времени.

Михаил ПОПОВ

Прозрачная глубина Игоря Шкляревского

Марина Маслова о творчестве и личности поэта

Стопка книг, увенчанных именем одного автора – Марины Масловой. Книги о её земляках – курских писателях-современниках: Евгении Носове, Михаиле Еськове, Борисе Агееве… Собрания о поэтах XIX века: Аполлоне Григорьеве и Афанасии Фете. Издания статей и очерков о русских классиках: Фёдоре Достоевском, Николае Лескове, Марине Цветаевой, Николае Гумилёве… А вот совсем свежая – «Солнечный ветер» – книга о творчестве и личности поэта Игоря Шкляревского.

Книг много – просто глаза разбегаются. Берусь то за одну, то за другую; перелистываю, заглядываю в оглавление; прочитав отдельную статью или очерк, тянусь за третьей. Но обзор чаще всего начинаю с тонких видовых книжек, где множество цветных фотографий. Тут Марина представляет Господни творения – пейзажи родной курской земли. И глаз, и сердце радуются при виде этих дорогих для русского человека картин. В одной книжке их сопровождают авторские четверостишия, а в другой, где царство братьев наших меньших, – занятные, озорные и простодушные подписи. Сороки, аисты, змеи, лошади… С ними, с этой пернатой, рогатой, чешуйчатой труппой, Марина разыгрывает маленькие спектакли. Вот гусь, вставший в профиль: «Вам попозировать? Извольте!». Не орёл, конечно. Но… тот ещё гусь. Тут кот, не иначе чеширский, потому что изъясняется по-аглицки: «This is my territory!». Правда, метит эту самую территорию совсем не по-джентльменски. Тут утица со смешным панковским прикидом-хаером. Клуша клушой, но гонора, как у иной поп-звездышки. Весенний лес – что тебе сцена хоровой капеллы. Только не для дроворуба-дятла: «Некогда песни слушать, делом надо заниматься…». Мышка-норушка доверчиво открылась на щедрую кормёжку: «Я кукурузу люблю». Стайка пичуг, сидя на вершинке беседки, распевает: «А мы монтажники-высотники…», точно это они вершили крышу.

Вот, думаю, порадовался бы этому пёстрому видеоряду Игорь Шкляревский. И кругу этому ближнему, и подписям. Так, кажется, и слышишь его открытый искренний смех, как отмечает в «Солнечном ветре» Марина Маслова. Ведь для него, уже немолодого человека, этот пернатый, чешуйчатый, мохнатый мир очень близок. Больше того, видится, что этот мир ему, поэту, подчас роднее человеческого. Жаль только, что увидеть это изобилие красок и форм он не сможет – совсем сдало зрение…

Впрочем, почему?! Бабочка же ему открылась. Это вольное дитя эфира, порхнувшее однажды на руку Марины, по эфиру же, через мобильную связь достигло Москвы и вызвало не просто улыбку, а радостное ликование, столь живописно запечатлела Марина блуждания небесной гостьи по своей ладони.

В словесном вернисаже Марины много живности: лягушка, лещ, африканская муха, сойки… А тут вдруг бабочка. Залетела в растворённую кабину японского вездехода, остановившегося среди курского траволесья, и села на руку путеводительницы. Ощупалась-огляделась, поводя своими глазищами на крыльцах, перетекла в подставленную пойму ладони, принялась трепетно обследовать, сканировать знаки судьбы – линии жизни и смерти, протоки и дельты житейских рек. От неосторожного движения руки вспорхнула, улетела, казалось, навсегда. А потом вдруг опять явилась, нашла местечко и села на цветок ладони, расправив устремлённые в небо свои удивлённо-дивные глазастые крылья.

Может, эта бабочка, как золотой ключик, и отворила давно затворенное от сторонних глаз и ушей сердце поэта. Ключик марки «бабочка поэтиного сердца». И поэт, давно ушедший в добровольную ссылку, в вынужденное затворничество, в духовно-телесный скит, сократив до предела общение с людьми, тут поддался обаянию голоса, пославшего вперёд себя эту диковинную бабочку. А и впрямь. Он пять раз увиливал от интервью с первостатейным литературным критиком. А тут вдруг повёлся. Дистанция давала свободу поведения: хочу – включусь, хочу – отключусь, дескать, батарейка села… Условие поставил одно – никаких диктофонных записей. Связь была ясная. А голос не раздражал. Голос был робко-почтительный, простодушно-доверчивый, ласковый. Голос-ручеёк, который доносится из травы и песчаника, поблескивая песчинками-золотинками, и, казалось, воочию возвращая утраченное зрение.

С чего всё началось? Случился у нашей Марины затяжной кризис. Житейский, бытийный, духовный. Всё валилось из рук. Душа была не на месте. Всё существо её шло в разнос. Вот в такую пору она и сняла с полки первую попавшуюся книгу. Это оказался том Игоря Шкляревского «Избранное». Давным-давно ей, студентке, эту книгу подарил один преподаватель. С тех пор минуло много лет, она сама стала преподавателем. Но книгу в руки не брала. А тут раскрыла и… словно к роднику, к чаше с живой водой прильнула. Сначала взахлёб, упиваясь, стремясь утолить нестерпимую жажду, потом медленнее-медленнее, чувствуя, как с каждой строфой уходит «лютое уныние» и докучная хмарь…

Благодарная поэту за духовное исцеление, Марина принялась осмысливать эту чудодейственную поэзию. Явился большой очерк творчества. Следом – не менее крупная работа, посвящённая переложению «Песни о зубре» средневекового полесского поэта Николая Гусовского. И вот когда Марина наполнилась духом и смыслом этой поэзии, её артезианской глубиной и небесной высью, ей захотелось поговорить с поэтом, услышать его речь, благодарно открыться ему, смиренно выслушать. Кто мог предполагать, что эта беседа, затеянная с помощью мобильной связи по весне, продлится целое лето!

Этот диалог в переложении Марины даётся в начале книги, хотя по хронологии – работа заключительная. И это правильно. Вначале поэт предстаёт нашему взору исподволь. Мы открываем его личность, характер, его манеру общения, осмысливаем его привычки, пристрастия, радуемся его жизненной неукротимости, одновременно входя в реку его поэзии, а также постигая и образ автора. А вторая часть книги углубляет наши представления об этом большом, ни на кого не похожем русском поэте. Непонятно только, почему вторая часть дана как приложение. Все составные, на мой взгляд, – единое целое. Это как, не побоюсь сравнения, иконный складень.

Представляю, что в этом месте автор книги слегка поморщится. И вот почему. Всю дорогу – и в очерке «Солнечный ветер», и в очерке «Одинокий до звёзд» – Марина Маслова сокрушается, что поэт не крещён. Её смущают (так и вижу, как она крестится при этом) иные его «богохульные» строфы. Она не то чтобы попрекает (Боже упаси – дистанцию сознаёт), а пытается донести до него свои христианские чувства. А поэт уходит от этой «темы», как когда-то ускользал от интервью с известным литературным критиком. Марина сознаёт тщетность своих попыток и сама в этом признаётся, но нет-нет да и возвращается к своим намерениям.

Да, поэт не воцерковлён. Но ведь иные его стихи, по сути, молитвы. Одна прихожанка поведала, что эти строфы переписывают сёстры православной обители. А уловлен поэт Святым Духом давно – с детства или с юности. Подтверждением тому – первое стихотворение, которое в свои поры так благодатно поразило Марину и которое она приводит первым:

Я любил эту голую стену.
Тополя шелестели в окне,
И прохладный серебряный невод
Трепетал на вечерней стене.
Свет небесный её серебрил.
Я с разбитым лицом приходил,
И печальные тени ветвей
Прикасались нежнее, чем руки.
И шумели над жизнью моей,
Над позором, и болью, и мукой.

Разве не Дух Святой – ипостась рыбарей-апостолов – развесил здесь серебряный невод? И разве не Дух Святой – триединая суть христианства – явил ему Божественный глагол, сделав поэтом? И разве не промыслом Божьим явилось Марине это спасительное стихотворение, которое привело её к написанию этой книги?

Фамилия Шкляревского происходит от профессии стекольщика, стеклодува. Стекло чистой воды – говорят о качестве стекольного изделия, оконного стекла, стакана, бокала. И это символично.

И поэзию Шкляревского, и книгу «Солнечный ветер» о нём, как сосуды, наполняет образ воды. Вода в разных ипостасях (вода как человеческая основа, источник жизни, вода крестильной иордани, вода как среда обитания рыб, кстати, символа христианства…). У Шкляревского книга «Глаза воды», в книгах Марины Масловой множество малых рек Курщины: Сейм, Псёл, Рогозна… Вода – источник омовения, очищения. И тут я, пожалуй, соглашусь с Зоей Межировой, с которой полемизирует Марина Маслова, но не во всём, а только в том, что касается воды. И разовью: именно вода, живая вода, Божественная суть её утолила печали поэта и, преобразуя дух его, помогла очистить от вековых наслоений первородное русское слово.

Потом оказалось, что в третьей части книги Марина сама говорит о воде как об источнике преображения, и, стало быть, тут мы, по сути, одинаково смотрим на образ воды в поэзии Игоря Шкляревского. Вода как чистота, ясность, первородная суть слова.

А чистота слова поэта смывает все его «кощунства». Сама Марина сознаёт, что «богохульства» Шкляревского не от того, что он не любит Бога, а от того, что, создав человека, Бог не окоротил его. Чем дальше, тем больше миром правит человек-потребитель, человек-истребитель, человек-убийца. Выступая от имени матери-природы, поэт столь горячо ратует за «братьев наших меньших», что переходит известную черту, обращаясь с укором к Богу. Кстати, не отсюда ли повторяющийся образ родного младшего брата, так назван даже целый сборник, чего не найдёшь ни у одного русского поэта.

Тут, мне думается, всё понятно и объяснимо. Выросший в скудости, но в первозданной, Богом обласканной природе, сам сын природы-матери, он всем своим существом чувствует её боль, её ожоги и раны и потому, вскидывая голову к небу, срывается на крик. У меня другое вызывает сокрушение – одна неодолимая страсть, которая однажды поразила поэта.

Эту тему Марина, как человек православный, по сути, обошла, внутренне к ней равнодушная. Выслушала горячечные речи, которые давним эхом всколыхнули самого рассказчика, но не её, отметила два-три факта. И всё. А меня, не ведавшего доселе об этой стороне судьбы поэта, хотя читаю его больше полувека, она зацепила. И вдруг как-то иначе открылось название его первого московского сборника – «Фортуна» (1968). Вот он – с концентрическим кружением названия на обложке – то ли картушка компаса, то ли… рулетка. И вспомнилось его стихотворение об Артюре Рембо, который «пустился в дальний путь, чтоб золотом набить свои карманы». И дружба с известным поэтом, который ещё в советские поры слыл азартным игроком…

Образ Артюра Рембо, однажды явившись, глубоко не поразил поэта – стихотворение проходное, хотя таковых у Шкляревского, кажется, нет. Здесь перечень общеизвестного, по крайней мере, известного студенту филфака. А меж тем, думается, что этот образ ему явился как предупреждающий знак. Не меньше.

Артюр Рембо, получивший дар Божий, в семнадцать лет признанный королём французских поэтов, к девятнадцати годам написал сто гениальных стихотворений, а затем взял да и круто повернул свою судьбу. Что он сделал, этот enfant terrible, несносный ребёнок, шалопай, как его называла парижская богема? Он плюнул на поэзию и, охмурённый бесом, подался в Африку искать копи царя Соломона.

Меня эта история в своё время настолько поразила, что я написал повесть, схлестнув две судьбы – Рембо и Чехова. Чехов возвращается южным морским путём с Сахалина в Россию. Очередная стоянка парохода в Адене. И именно здесь на причале оказывается Артюр Рембо, тогда, в ноябре 1890 года, хмельной, сытый и самодовольный коммивояжёр. Проходит полгода. Вторая встреча русского писателя и бывшего французского поэта произойдёт в Милане. А до этого, в марте 1891 года, 37-летний Рембо, поражённый неведомой болезнью, будет выбираться из глубины Африканского континента, чтобы плыть в Европу. Его понесут на носилках, меняясь поочерёдно, шестнадцать амхарских воинов. Обратный путь – одно сплошное мучение. Мрак африканской ночи, мрак чувств и мыслей. Стоны и вопли, обращённые к небу.

Эти сцены я писал с двояким чувством. Я и жалел Артюра, отдавая дань его божественному гению, и одновременно – прости Господи! – почти злорадствовал. А ты как хотел?! Тебя Всевышний наделил ни с чем не сравнимым сокровищем – даром поэта, а ты променял его на блеск и мишуру злата! И чтобы подчеркнуть истинно христианское отношение к Божьему дару, в завершении повести представил Чехова, который, кашляя кровью, смиренно садится за письменный стол и выводит заглавие новой своей работы «Моя жизнь».

Всякий, облечённый даром, – пожизненный должник и несёт ответственность за этот дар. А отступники, как Рембо, расплачиваются жизнью. Именно с этих позиций надо рассматривать любой дар, оценивая его как всеобщее достояние, и не принимать никакого отступничества. Отступничество – грех. Крещён ты или не крещён, грех для всякого остаётся грехом. Не сберёг ты душу в чистоте, дьявол, если не залучит, то непременно опалит тебя. Что значит это объяснение: «Но, а что не вижу… Ну, что-то устало… У одного сердце, у другого глаза…»? Нет, это слишком просто и заземлённо. Это у лесоруба глаза и возникшая от профессии «глаукома». А у поэта «очи», «вежды», «зеницы». Им особо опасна порочная страсть, тем более блеск золотого тельца, который, видать, и попалил их высокое назначение.

Выход один – надо молиться. Молиться, чтобы Господь вернул очам небесный свет. И самому поэту, и нам всем, кто любит и ценит его поэзию. Опыт был: Евангелие от Иоанна, гл. 9.

И в заключение – вновь о книге Марины Масловой, издании о поэте и поэзии. Такого рода книги, где бы переплеталось бытие и быт, земное и небесное, поэзия и проза жизни, редкость. Она не велика по объёму, но весома по содержанию и глубине.

Что в основе этого успеха? Прежде всего – тепло православной души. Второе – женская сердечность и прозорливость. И третье – высокий профессионализм: обширные знания филолога, глубина аналитического мировоззрения.

Книга Марины Масловой «Солнечный ветер» не просто найдёт своего читателя, убеждён, что она войдёт в свод общенационального литературоведения (хочется сказать: душеведения), и на неё непременно будут ссылаться знатоки поэзии и профессиональные филологи.

г.Архангельск

Если допустимо сравнение романа (хотя и рискованное) с боксёрским поединком, то можно сказать, что Михаил Михайлович Попов в начале своего фантастического боевика «Плерома» проводит противнику удар прямо в лоб. Рассказывает, как учительница пятиклассников привела их в кино на Чарли Чаплина, и далее читаем:

«Вадим с огромным трудом досидел до конца сеанса, и как только всех вывели на улицу, его вырвало. Алла Михайловна бросилась ему на помощь. Она тут же заявила, что мальчика отравили в школьном буфете. Мальчик не возражал против этой версии, хотя точно знал, что стошнило его из-за Чаплина. Признаться же в этом не было никакой возможности, потому что он видел, как Аллу Михайловну восхищает этот неприятный человечек, как она восторженно светится при взгляде на экран…».

Повторюсь: таким образом начать роман это всё равно, что боксёру ударить противника сразу в лоб, без хитрых «разведок боем», кое у кого занимающих весь поединок. Автор этой статьи тоже без раздражения не может видеть кривляний Чаплина – правда, началось это у меня уже в немолодые годы. Спасибо, однако, за эту сценку Попову: многим другим авторам фильм скорее дал бы повод на полстраницы размазать влагу по поводу «великого артиста Чарли».

Недавно Михаил Попов собрал богатый урожай похвал за роман «На кресах всходних», но спрашивается: не слишком ли мы – пишущие критику – легко успокаиваемся, если считаем, что хвалебные рецензии – это и всё, чего заслуживает данный роман?

В советские времена, быть может, и по стране прошли бы читательские конференции, посвящённые книге, и вообще о ней бы увереннее говорили, как об «этапном произведении нашей литературы». Я не силён в организационных и премиальных вопросах, но думаю, что роман заслуживает какой-то специальной конференции для его обсуждения. (Пас в сторону Сергея Шаргунова как руководителя «Ассоциации писателей и издателей».)

Присоединяясь к хору тех, кто назвал «На кресах всходних» большой удачей автора (и итогом серьёзного труда), я постараюсь взглянуть на творчество Михаила Михайловича Попова чуть глубже, но сначала отдам дань уважения его тёзке, Михаилу Константиновичу Попову из Архангельска. Последний – автор весьма качественной прозы, и всё-таки Михаил Михайлович Попов – явление совсем иного порядка, не случайно именно ему Союзом писателей России было поручено руководить Советом по прозе.

Он – автор многих успешно продающихся книг, и он – один из немногих современных писателей, сумевших сочетать коммерческий успех с содержательной глубиной. Известный критик Сергей Казначеев написал о нём так:

«Начало фундаментальных «перестроечных» перемен в обществе застаёт Попова в расцвете сил и энергии. В отличие от многих современников он не опускает руки, не впадает в отчаяние, но продолжает интенсивно работать над прозой. Под видом детективной или же приключенческой литературы Попов создаёт романы, наполненные многослойными жизненными, философскими и культурологическими аллюзиями».

«Аллюзии» – термин зарубежный, каковые и принято употреблять в энциклопедиях, а я бы впечатление от прозы Попова передал словосочетанием «высокий разум». Это качество ума не зависит даже от образования; это свойство духа, пусть он даже скрыт под внешними признаками «остросюжета». Так и у Набокова нас сразу поражает ум, хотя ничем «умственным» писатель вроде бы нас не «грузит».

Приведу пару цитат из романа «На кресах всходних».

«Черпаков гнал машину не к главному дивизионному складу, где два верных кладовщика отлично знают, куда засунуть и как распределить всё добытое среди несметных закромов действующей дивизии. Черпаков рулил в город, там у них, как у отдельной бригады, имелся свой маленький схрончик…».

И в другом месте:

«В прежние годы, когда на аэродроме базировались полки бомбардировочной авиации группы армий «Север», там было казино варьете с большим выбором трофейных напитков и девиц местного происхождения. «Намоленное»

Доминантой книги Алексея Манаева «Мои святы», вышедшей недавно в Белгородском издательстве «Сангалов К.Ю.», на мой взгляд, является новелла «Богатырь». Матушка автора, тогда пятилетнего мальчонки, уговорила его лечь пораньше спать. Предлог важный: с зарёй некий богатырь Тимоша должен принести подарок. И заснул наш герой сладким сном в предвкушении визита желанного гостя. Проснулся средь ночи. Матушки нет (позже выяснилось, что попросили поработать в страдное погожее время на уборке сена), богатыря нет. Стало страшно. Что делать? Конечно, усевшись на подоконник, реветь во всю Ивановскую и звать на помощь то матушку, то богатыря.

Ночь лунная, ясная. Видит, к окну приближается тень. Думает: наконец-то Тимоша пожаловал. Оказалось, услышав вселенский ребячий рёв, пришёл сосед по прозвищу дед Мусат, работавший в колхозе сторожем. Он открыл створчатое окно, взял мальца в полы всесезонного тулупа, выдаваемого по служебной необходимости, и отнёс в свой сарай на сеновал, где почивали две невестившиеся дочери.

– Девки, – сказал, – хватит дрыхнуть. – Ай не видите, жених пожаловал?! Примите в компанию да не обижайте.

Позже, став школьником, в историко-художественном музее тоже провинциального городка увидел автор фотографию необычного человека. Ростом под 2,5 метра, колодки для обуви чуть ли не метровые. Выходит, матушка не обманывала, Тимоша не выдуманный великан, а настоящий. И жил он в этом городе. Начал школьник собирать сведения о богатыре и сравнивать его с Ильёй Муромцем, пытаясь уяснить для себя, кто сильнее и, следовательно, «главнее». Верх брал то один, то второй любимец. Только много-много лет спустя, став седым, литератор сделал вывод: настоящий богатырь – тщедушный дед Мусат, который протопал в Великую Отечественную войну от Бреста до Сталинграда, а потом от Сталинграда до Берлина, воспитал восьмерых сыновей и дочерей и трудился до глубокой старости.

Автор книги поставил цель – рассказать о прошлом и настоящем глубинки, о её людях – и о тех, кто живёт безвыездно, и о тех, кому, оперившись, довелось прославиться талантами. Вчитавшись в повествование, неожиданно приходишь к выводу, что духовная богатырская стать отличает едва ли не каждого героя. Фраза получилась коварная. Могут сказать: либо литератор «дал петуха», либо критик. Кто поверит, что в деревне жили и живут сплошь добры молодцы да красны девицы? Вслед за Алексеем Манаевым утверждаю: идеальных людей там, как и в городах, нет. Неидеальных – хватает. Вопрос в том, как к ним относиться. Если знаешь, в каких условиях они выживали, если делил с ними последнюю корку хлеба, если получал в качестве бесценного подарка пяток поленцев для растопки печи, то, по крайней мере, равнодушным быть не можешь. Для тебя они – все родственники, все духовные богатыри. Или почти все.

Обращение литератора к истокам, к малой родине (хутор Калинин Красненского района Белгородчины) не ново. Можно вспомнить хотя бы «Каплю росы» Владимира Солоухина. Владимирское сельцо Алепино (Солоухин называл его Олепино) тоже с ноготок, и в главных героях тоже сельский люд. Но на этом похожесть заканчивается. «Каплю росы» Солоухин писал в то время, когда мощно набирала силу «деревенская» проза, на многие годы определившая идейно-нравственные искания и ориентиры всей отечественнойлитературы, когда село числилось хотя бы в формальном почёте. Поэтому Солоухин был в роли своеобразного акына, который пел о том, что видел, не особенно заботясь о «прорисовке» характеров. Сегодня иные времена. Сегодня деревенская проза оказалась в таком кутке, что и понять трудно, есть ли она вообще. Сельский люд ещё не избавился от скорлупы «совка», которой был награждён, как мне кажется, нехристями.

В таких условиях потребовались иное письмо. Не показательное, а я бы сказал – доказательное. Автор убеждён сам и постоянно убеждает нас, читателей, что нрав человека зависит, конечно, от времени, в котором он живет. Но не в меньшей степени он зависит от наследственного «предрасположе-